



Л. ШЕСТОВ

Власть идей

(Д. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Т. II)

De la musique avant toute chose...
.....
Et tout le reste est littérature*.

Paul Verlaine.

I

Мне уже пришлось однажды говорить с читателями «Мира Искусства» о книге Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» по поводу 1-го тома этого сочинения, вышедшего в 1901 году отдельным изданием**. Между прочим, указывая как на недостаток работы на слишком резко выраженное стремление автора к синтетическому объединению добытого им у Достоевского и Толстого психологического материала, я заметил: «Впрочем, у меня осталось впечатление, что и для самого г-на Мережковского синтез имеет только внешне-объединяющее, формальное значение и принят им лишь для литературных целей, так что я советую читателю: по прочтении книги больше размышлять об ее материальном содержании, чем о формальной цельности».

Я и сейчас продолжаю думать, что общая идея, последний синтез имеет в книге только формальное, литературное значение. Когда-то мне пришлось прочесть известную сказку о том, как солдат сварил щи из топора. Беднягу определили на постой в деревне к очень скупой бабе, которая ничего, кроме черствого хле-

* О музыке прежде всего... а все остальное — литература (фр.).

** См.: Мир Искусства. 1901. № 8—9.

ба, не давала своему жильцу. Ни просьбы, ни убеждения не помогали. Тогда солдат пустился на хитрость — предложил изготовить отличные щи из обыкновенного топора. Хозяйку эта идея очень прельстила. Затопили печь, налили в горшок воды, положили в воду топор и стали ждать. Когда вода закипела, солдат сказал, что совсем были бы хороши щи из топора, кабы прибавить кусочек мяса. Заинтригованная хозяйка, забыв скупость, пошла в погреб и принесла мяса. Потом, под тем же предлогом, солдат спросил капусты, сала, соли и т. д. В конце концов щи вышли превосходны, и хозяйка, вместе с жильцом, поужинали на славу. Что же до топора, то он, разумеется, не «доварился», и солдат обещал его доварить с другой раз.

На мой взгляд, общая идея всегда играет в книге ту же роль, что и топор в щах солдата. Сколько ни возись с ней, она так и останется недодваренной. И главное — книга от того несколько не страдает: были бы только в ней все остальные элементы, из которых составляется духовная пища человека.

Когда я читал первый том книги «Л. Толстой и Достоевский», мне казалось, как я и высказал тогда, что г-н Мережковский и сам не придает большой цены синтезу. И в этом смысле второй том этого сочинения явился для меня совершенной неожиданностью. Правда, я позволяю себе думать, что в значительной степени он явился неожиданностью и для самого автора: мне представляется, что в то время, как он начал писать свой труд, он — «даль свободного романа сквозь магический кристалл еще не ясно различал». Может быть, он даже и не предвидел, что задумает выпустить огромный отдельный том под заглавием «Религия Л. Толстого и Достоевского». Пожалуй, ему тогда, как мне теперь, казалось, что на такую тему и писать нельзя, не нарушив великой 3-ей заповеди — нельзя, по крайней мере, светскому человеку, не искушенному в богословских тонкостях. Говорить на пространстве 600 страниц большого формата о религии — т. е. о Боге — кто из нас может быть настолько уверен в себе, чтоб не бояться соблазна суесловия?! А ведь нет большего греха, чем упоминать всуе имя Господа!

И в самом деле, нарушение 3-ей заповеди привело г-на Мережковского к дурным последствиям. Человек, весь пропитанный современными идеями, поэт, романист, критик — по своему призванию, он попытался в новой для него области применить те приемы и следования, которые приняты в науке и литературе. До сих пор он занимался научными и литературными вопросами, теперь он, по его собственным словам, стал «заниматься вопросами религиозными». Уже самое выражение это «занимать-

ся религиозными вопросами» — выражение, в последнее время ставшее входить в употребление — (я его у г-на Минского в «философских разговорах» встретил и еще кое-где) заключает в себе большое недоразумение. Религиозных «вопросов» нет и быть не может, и «заниматься» тут нечем. Существуют вопросы политико-экономические, социальные, если угодно — даже теологические, и на Западе поэтому развились соответствующие дисциплины, которые постепенно переносились и на русскую почву и даже в некоторой степени акклиматизировались у нас. Но религия — это не дисциплина и не наука, и всякая попытка приравнять ее к какой бы то ни было области человеческого знания должна считаться по существу своему незаконной и встретить потому надлежащий отпор. Мне кажется, что отчасти и сам г-н Мережковский предчувствовал это — и отсюда у него такое невероятное количество совсем не идущих к светской книге богословских выражений, для которых он, по возможности, даже сохраняет особенности их традиционного правописания (стыдно признаться — но грех утаить: я совсем было позабыл о существовании в русском алфавите прописной ижицы, так что, встретив ее в книге г-на Мережковского, не сразу распознал, в чем дело, и принял было ее за римское пять). Но этим приемом он скорее испортил, чем исправил дело. Ему представилось, что, произнося часто святые слова, он уже этим самым в достаточной степени воздаст Божье — Богу, и что, следовательно, ему разрешается без всякого стеснения воздавать кесарю — кесарево. Вся огромная книга целиком почти посвящена доказательству той «философской» идеи, что в мире существует некое единство, которое — не знаю, как уже правильной выразиться — не то представляет собой религию, не то должно заменить ее. Ни одна из форм существующих и существовавших религий не удовлетворяет г-на Мережковского. Даже исторические формы христианства кажутся ему в высокой степени несовершенными, и он стремится к отысканию какой-то новой формы. История человечества представляется ему одним непрерывным стремлением к отысканию этой, пока еще неизвестной формы. Он думает, что на нас и на ближайшие к нам поколения возложена задача отыскать новую религию, что с задачей этой близкое будущее справится, а затем — наступит конец мира...

Мне эта схема представляется очень подозрительной — прежде всего потому, что я под новыми, вернее, обновленными словами узнаю старые идеи. Снимите с теорий г-на Мережковского рясы и ризы, в которые он без всякого на то права облачил их, и вы увидите пред собой давно знакомую и очень светскую особу,

которая в миру называлась прогрессом. Прогресс тоже всегда держал при себе блестящий штат возвышенных, отвлеченных идей; он тоже любил в свое оправдание ссылаться на более или менее отдаленное будущее. Сходство даже в том, что прогрессивным поколениям обыкновенно казалось, что самая великая и трудная задача выпала именно на их долю, и что им суждено сыграть в истории очень выдающуюся роль. И конец мира вовсе уже не так несвойствен современному миросозерцанию: ученые не раз соображали, что рано или поздно остынет солнце, и, следовательно, земля замерзнет. Правда, они клали более значительные сроки. Но «скоро» г-на Мережковского — тоже очень условное скоро. Он сам оговаривает, что мерило у него — вечность. А в сравнении с вечностью — даже тысячелетия суть мгновения. Я бы, впрочем, все-таки довольно легко примирился с общей идеей г-на Мережковского, если бы во втором томе, как и в первом, она играла бы только внешнюю роль. Прогресс — так прогресс: идея — не хуже и не лучше всяких других идей. Я бы и синтеза не стал очень оспаривать: *de gustibus aut nihil aut bene* *, как говорит один из героев чеховской «Чайки». Но на этот раз г-н Мережковский ради своих идей забывает решительно все на свете, — а этого уже никоим образом простить нельзя.

И прежде всего, он забывает самого себя, так что мне придется выступать в странной роли защитника г-на Мережковского против г-на Мережковского. Вся огромная книга написана так, как будто бы автора ее совсем не было на свете, или как будто бы все может быть важно, интересно, значительно, кроме г-на Мережковского. Откуда такое самоунижение? Любопытно, что в конце концов он и сам как будто догадывается, что что-то у него неладно, и в предисловии пытается *ex post facto* оправдаться. «Темысли, — пишет он, — которые я желал бы здесь высказать, не мысли самоуверенного бунтующего против церкви нигилиста, ницшеанца, западника, декадента, — я не знаю, как еще меня называют, ругают — а мои самые робкие, мучительные сомнения, мои болезни и немощи, от которых я ищу исцеления — отчасти моя исповедь» **. Если бы это было так! Но, как мы увидим дальше, г-н Мережковский не только никогда не смеет сомневаться, болеть и тем паче еще исповедываться — он никому не прощает ни болезни, ни слабости. (Напомню здесь пока, что князя Андрея из «Войны и мира» он «называет, ругает» — «неумным неудачником!»). Я уже не говорю о сомнениях. Стоит толь-

* О вкусах — либо хорошо, либо ничего (*лат.*).

** Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. XXIV.

ко человеку на мгновение задуматься или опечалиться — и г-н Мережковский теряет всякое самообладание. «Синтез, идея идет, гляди веселей, чего волком смотришь!» — вот слова команды, непрерывно срывающиеся с уст г-на Мережковского, и горе тому, кто ослушается его приказания — будь то «великий писатель земли русской» граф Толстой, будь то знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше или даже сам Достоевский, зачастую являющийся для г-на Мережковского пророком. Порядок, равенство во фронт — прежде всего, иначе не получится той идеальной законченности, которая называется синтезом, и которая, как нам говорили немцы, составляет конечную цель всяких умственных исканий... Нам теперь нельзя исповедываться, т. е. говорить правду. Нам нужно быть строго объективными, научными, т. е. высказывать о вещах, до которых нам нет решительно никакого дела, суждения, к которым мы совершенно равнодушны. И при этом еще «глядеть весело»!

II

В этом смысле второй том книги г-на Мережковского является полной противоположностью первому. В первом он внимательно, неторопливо, без всяких предвзятых мыслей вглядывается в жизнь и только от времени до времени, словно против воли, чтоб не спорить с традициями, морализирует и делает обобщения. Во втором — он раз навсегда закрыл глаза на действительность и, весь отдавшись во власть идей, начинает обобщать и судить, или, как ему кажется, созидать новую религию.

Уже в самом начале книги мы наблюдаем первые вспышки гнева у г-на Мережковского по поводу того, что гр. Толстой в «Войне и мире» непочтительно отнесся к Наполеону и, таким образом, оскорбил идею всемирного единения, которую будто бы представлял собой французский император. Нисколько не колеблясь, придав возможную твердость своему по природе мягкому голосу, г-н Мережковский восклицает, что Толстой «нарисовал на Наполеона карикатуру, не смешную, не злую, а только позорную — надо уже когда-нибудь прямо признаться — позорную уже, конечно, не для Наполеона» *. Я думаю, что не следовало бы торопиться с такого рода признаниями. Но, как известно, только первый шаг труден. Раз произнесши роковое слово и убедившись, что оно не повлекло за собой никаких видимых послед-

* Там же. С. 56.

ствий, что небо осталось спокойным, да и земля не содрогнулась, г-н Мережковский почувствовал себя совершенно свободным и стал говорить о Толстом решительно невероятные вещи, которые — я в этом глубоко убежден — нисколько не выражают собой его действительных суждений о великом писателе. Здесь следует отметить любопытную черту литературного творчества г-на Мережковского, которую можно назвать идейным радикализмом. Он по натуре своей представляется мне страстным охотником за идеями, в своем увлечении способным даже дойти до браконьерства. Но не всякая добыча в этой области соблазняет его. Он признает и любит только самые крайние, самые радикальные идеи. Оттого-то в его сочинениях он совершенно обходится без положительной степени: все у него превосходные. И затем вы у него редко найдете страницу, на которой не было, примерно, десяти или больше сильных и резких выражений. В этом, правда, отчасти можно видеть влияние Достоевского и Ницше — но, может быть, и обратно; может быть, он оттого и избрал себе в учителя Достоевского и Ницше, что они отвечают его радикальным вкусам. Г-н Мережковский всегда чувствует неодолимую потребность негодовать, умиляться, отчаиваться, выходить из себя, совершенно примиряться и т. д. И что особенно ценно в нем — его настроения обыкновенно возникают самостоятельно, совершенно независимо от того, дает ли к ним настоящий повод предмет, о котором у него идет речь. Точно так же и убеждения его — вовсе не такого рода, чтоб однажды их высказав, никогда бы уже нельзя было отречься от них. Наоборот, внутренне он относится к ним с почти идеальным, суверенным презрением. Эта черта делала бы его оригинальнейшим русским писателем, если бы он имел смелость быть самим собой и не считал необходимостью так последовательно и упорно скрывать свою истинную сущность под немецкими идеями. Когда он возвещает какую-нибудь истину, от которой ему так же легко отказаться, как переменить перчатки, и от которой он не сегодня-завтра наверное отречется, так как он достаточно утонченный человек, чтоб *à la longue* * не выносить ни одной из выдуманных им самим или другими людьми истин, он при этом делает такой торжественный, убежденный, я чуть не сказал вечный — вид, как и любой из публицистов толстого журнала, 25 лет подряд долбивший своих читателей какой-нибудь гуманностью или прогрессом. Или когда он возмущается и негодует, — неопытный человек и в самом деле может подумать, что г-н Мережковский узкий и нетерпимый фанатик, готовый

* в конце концов (*фр.*).

сжечь на костре всякого, кто вздумает ему противоречить. Ни-
 чуть не бывало: завтра он будет, разумеется, негодовать по пово-
 ду того, что его сегодня умиляло, и прославлять то, что его воз-
 мущало. И, кто имел терпение изучать г-на Мережковского — тот
 ни на минуту в том не усомнится. Г-н Мережковский высказы-
 вает то или иное убеждение лишь потому, что оно сейчас при-
 шлось ему по вкусу и соблазнило его с чисто эстетической сторо-
 ны; он негодует или умиляется только потому, что ему пришла
 пора умиляться и негодовать. Его мысли и настроения чудесно
 независимы от чего бы то ни было внешнего. Монтень нашел бы
 в г-не Мережковском идеального собеседника! И как обидно ви-
 деть, что столь свободный человек насильно втискивает себя в
 рамки обыденных схем и чуть ли не на каждой странице отрека-
 ется от своей глубочайшей сущности. При его литературном та-
 ланте, при его искусстве изобретать новые и эксплуатировать
 старые идеи, при его способности быстро переходить от одного
 настроения к другому, какой великолепный образец свободной,
 д о в е р я ю щ е й с е б е непоследовательности мы бы могли
 иметь в его лице! Как отрадно было бы увидеть не только в сти-
 хотворных, но и в прозаических произведениях пример того по-
 этического беспорядка, того живого хаоса, о котором мы, запуган-
 ные немецкими учителями, скоро не будем уже сметь даже
 мечтать. Я всегда надеялся, что г-н Мережковский скорей, чем
 кто-нибудь другой, решится требовать и для прозы той magna
 charta libertatis *, которая уже давно считается неоспоримой пре-
 рогативной поэзии. И вместо того, во втором томе я встречаю те
 же однообразные, серые немецкие мундиры, те же краткие сло-
 ва команды, что и везде... Даже своим объемом и форматом кни-
 га г-на Мережковского напомнила немцев: огромный, толстый
 том... Г-н Мережковский уступил по всей линии вечно торжеству-
 ющим победителям при Седане. И только изредка замечается у
 него робкий, вопросительный, недоумевающий взгляд живого че-
 ловека: — да полно, точно ли вся эта военщина так нужна...

А меж тем, именно Ницше мог бы научить г-на Мережковско-
 го совсем иному. Прежде всего — иной форме изложения мыс-
 лей. Ницше, как известно, в этом отношении, совсем не был по-
 хож на немца. Он писал краткие афоризмы и до такой степени
 повлиял на немецкий язык, что в настоящее время большие пе-
 риоды встречаются только в газетных передовицах и у ученых
 профессоров, профессионально охраняющих все умирающее и
 даже умершее. На мой взгляд, афоризм — есть лучшая литера-

* великая хартия вольности (лат.).

турная форма. Конечно, и в афоризме человеческая мысль окажется более или менее помятой и раздавленной. Но афоризм дает одно неопределимое преимущество: он освобождает от последовательности и синтеза. Поэта никто не проверяет, думал и чувствовал ли он вчера, в прошлом году, пять лет тому назад, когда писал свои старые стихи — то же, что думает сегодня. А если проверяют и отмечают разницу, — то отнюдь не затем, чтоб укорять его, скорей — чтоб похвалить. Прозаикам необходимо добиться той же свободы, и Ницше, как и Достоевский (писавший тоже и публицистические статьи), нимало не заботились о «единстве», да еще всемирном. Все еще помнят, в каких несомненных противоречиях уличали Достоевского, — о Ницше я уже не говорю. Разумеется, если бы вместо того, чтобы писать небольшие статьи, они сочиняли бы огромные книги, им бы ничего не стоило подогнать под ранжир свои идеи и сгладить все неровности: премудрость, как известно, небольшая. Но они никогда не имели времени об этом думать — а может быть, и сознательно не хотели: ведь отлично знали они, что никакого единства в мире нет, не может — да, пожалуй, и не должно быть, и что идея нисколько не выигрывает от того, что ее бесплотные соседки маршируют с ней в ногу.

Меня очень удивляет, что человек с таким эстетическим чутьем, как г-н Мережковский, соблазнился исключительно радикальными идеями, которые как материал для творчества так мало соответствуют характеру его литературного дарования. Если позволительно — а я думаю, что позволительно — сравнивать литературные дарования с вокальными талантами, я бы сказал, что у г-на Мережковского *tenore di grazia* *. Поэтому хорошо могут ему удаваться только лирические роли. Меж тем его всегда тянет к драматическим партиям. И, чувствуя, что они ему не вполне даются, он прибегает к разного рода искусственным приемам — чтоб усилить впечатление: к форсировке голоса, к вставочным высоким нотам, к бесконечным повторениям. Разумеется, это ни к чему не ведет. Читатель вскоре привыкает к громким звукам и однообразным высоким нотам; а повторения не только не убеждают, но еще раздражают. Впервые высказанная мысль почти всегда привлекает наше внимание, но стоит ее прослушать 3-4 раза (а г-н Мережковский по десяти и больше раз повторяет одно и то же) — и вот она уже примелькалась и потеряла все свое обаяние. И отчего, собственно, г-ну Мережковскому героические партии кажутся почетнее лирических? Ведь вот, например, та-

* лирический тенор (*ит.*).

кой замечательный писатель, как Монтень, никогда не драматизирует, а пишет чудесно! Или, в наше время, Метерлинк, всегда поющий *mezza-voce* *. Я думаю, что оба они ничего не теряют даже по сравнению с Достоевским, Толстым или Ницше. У г-на Мережковского, желающего непременно быть не самим собою, несоответствие характера его дарования с характером взятой им на себя задачи сказывается часто очень невыгодным для него образом. В самых драматических местах, он, уступая никогда не замолкающей в человеке потребности держаться естественно, вдруг каким-нибудь небольшим замечанием, иногда даже одним словом, портит цельность впечатления. Так иногда итальянский певец, исполняющий партию в опере Вагнера, вставив крохотный форшлаг, изогнутое *sostenuto* ** или столь любезное лирическим тенорам *fermato* *** на высокой ноте — нарушает стильность музыки и вызывает в слушателе досадное чувство. Приведу один-другой пример из книги г-на Мережковского. Повторяя слова Христа: «Думаете ли вы, что я пришел принести мир на землю? Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить», он прибавляет от себя: «Конечно, это меч для высшего мира, это разделение для высшего соединения» ****. Или вот отрывок из «Войны и мира» с пояснениями: «“Мари, ты знаешь Еванг., — но он вдруг замолчал. — Мы не можем понимать друг друга”. Какое страшное молчание! Сколько в нем жестокости. Была ли вообще на земле большая жестокость, большее проклятье жизни? И в этом-то проклятьи, которое ведь в конце концов есть, быть может, лишь обратная сторона цинического, животного себялюбия — “все это ужасно просто, гадко; — все вы живете и думаете о живом, а я”, — заключается, по мнению Л. Толстого, вся “благая весть” Евангелия. Полно, не злая ли весть?» ***** Или еще: «Нет, — пишет г-н Мережковский, — кого другого, а нас этими “воскресениями” не обманешь и не заманишь — слишком мы им знаем цену: “мертвечиной от них припахивает”. Бог с ними, мы их врагу не пожелаем» 6*. Можно было бы привести и больше примеров, но, вероятно, и этих достаточно для пояснения сказанного. Форшлаг «конечно» в первой фразе, длинное *fermato* — во второй, и неожиданная бравурность в третьей — таких вещей

* вполголоса (*ut.*).

** сдержанно (*ut.*).

*** увеличение длительности ноты (*ut.*).

**** Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. 65.

***** Там же. С. 185.

6* Там же. С. 156.

следует всеми силами избегать. Разумеется, на своем месте форшлаг не мешает, а *fermato* и бравурный тон — могут быть красивыми. Но там, где нужно быть простым и кратким — а после цитат из Евангелия, после упоминания о Евангелии обязательно говорить просто и кратко — все риторические украшения строжайше возбраняются. От логики мы освобождаемся, но поэтика, видно, еще на долгое время останется в силе.

III

От общих замечаний перейдем к идеям г-на Мережковского. Он считает, что только тот человек заслуживает внимания и уважения, который сознательно и прямолинейно стремится создать религию. В этом коренится и его уважение к Наполеону: «Да, — пишет он, — в эгоизме Наполеона, безумном или животном, с точки зрения нравственности “позитивной”, не желающей быть и не смеющей не быть “христианской”, скрывается, с иной точки зрения, нечто высшее, потустороннее, первоначальное, премирное, религиозное: “Я создавал религии”. — Как будто не себя он любит в себе, а ему самому еще неоткрывшееся, неведомое» *. Правда, г-н Мережковский недолго верит Наполеону и со свойственным ему чарующим непостоянством, через 35 страниц, приводя вновь слова Наполеона: «я создавал религию», уже не придает им большого значения. «Ну, конечно, — говорит он, — никакой религии Наполеон не создавал, а, если и создавал, то не создал и не мог создать» **. Тут и форшлаг «ну, конечно» годится, тут и трель и даже самое продолжительное *fermato* было бы кстати. А уместнее всего была бы ссылка на 41 страницу, где утверждается противное. Таким образом, как я уже заметил, г-н Мережковский достиг бы высшей цели, какая только возможна в настоящее время в литературе — провозглашения свободы человеческого суждения от всего, навязанного извне.

Вторым великим качеством Наполеона г-н Мережковский считает его убеждение, что власть его, хотя она и добыта им силой, собственно, все-таки дана ему Богом. И он, с восторгом, десятки раз повторяет сказанную Наполеоном фразу: «*Dio mi la dona, guai a chi la tocca*» ***.

* Там же. С. 41.

** Там же. С. 77.

*** Бог мне ее (корону) дает, и горе тому, кто ее тронет (*ит.*).

Но если пошло на убеждения, то я позволю себе высказать убеждения прямо противоположные. Я считаю, что никто из людей не вправе создавать религию и что тут нечего создавать. Ибо одно из двух: либо Бог есть — и тогда религия дана нам Библией; либо Бога нет — тогда нам с Мережковским лучше всего замолчать. Что же касается Наполеонов, то в обоих случаях их деятельность — только возвышенное комедианство и кривлянье, которое с таким неподражаемым искусством изображено в «Войне и мире» гр. Толстым — одним из тех русских людей, который — что бы про него ни говорили — все-таки больше всех других сделал для разрушения престижа господствующих ныне научно-позитивных идей. А к этому и только к этому и сводится в настоящее время истинное дело тех, кто хочет оберечь религию от всепобеждающей обыденности. Обыденность тем и страшна, что она умеет все эксплуатировать в свою пользу и не раз уже обесценивала высшие религиозные истины, заставляя их служить своим целям. И далее, на мой взгляд, утверждения вроде тех, которые скрываются в итальянской фразе Наполеона, не только не свидетельствуют об особой близости человека к Богу и о серьезных религиозных исканиях, но наоборот, указывают на совершенный религиозный индифферентизм. Ибо вообразить себе, что первенство на земле, хотя добытое и собственными силами, а не по праву рождения, есть признак первенства также и перед Богом — значит забыть величайшее слово Евангелия о том, что первые здесь будут последними там... Когда Толстой писал о Наполеоне, он исходил из этой великой мысли (о которой, к слову сказать, г-н Мережковский ни разу в своей книге не вспомнил) — и опровергать его цитатами из Тэна не приходится. Чтоб окончательно противопоставить свое убеждение убеждениям г-на Мережковского, я скажу: страницы «Войны и мира», посвященные Наполеону — суть слава и гордость русской литературы.

Пусть, однако, читатель не думает, что я имею целью защищать писательскую репутацию гр. Толстого. Нет, к счастью, в этом надобности не представляется. Здесь речь идет о г-не Мережковском и о его «религии» — и только об этом. Я хочу установить тот факт, что г-н Мережковский под видом религии предложил нам пользующийся ныне в Европе таким исключительным успехом обыкновенный морализирующий идеализм. Почти каждая страница его книги служит тому доказательством.

«Если, — пишет он, — Наполеон погиб, то не потому, что *слишком*, а потому, что все-таки *недостаточно* любил себя, *любил себя не до конца, не до Бога* (везде курсив автора), не вынес этой любви, ослабел, потерял равновесие и, хотя бы на одно мгно-

вание сам себе показался безумным, смешным: “от великого до смешного только один шаг”. От этого маленького сомнения, а не от веры в себя он погиб». Не стану оспаривать этого, но полагаю, что дозволительно спросить: откуда это известно г-ну Мережковскому, как мог он проникнуть в такие глубокие тайны человеческих судеб? Нужно заметить, что в приведенных словах заключается не мимолетная, случайно забредшая в голову автора мысль и не простое предположение, а одна из основных его идей, которую он с несвойственным ему постоянством и с обычным пафосом проводит через всю книгу. К сожалению, г-н Мережковский сам не нашел нужным дать ответ на этот вопрос, а так как ответом решается судьба книги, то волей-неволей приходится пуститься в догадки. И я полагаю, что этот догмат о спасительности бесконечной любви к себе, как и весь идейный радикализм, внушен г-ну Мережковскому Фридрихом Ницше. Если бы кто стал мне возражать, я берусь соответствующими цитатами из сочинения этого последнего доказать справедливость своего предположения. Между идеями г-на Мережковского и мыслями Ницше есть, правда, трудно уловимое, но очень существенное различие — на первый раз даже представляющееся различием только в форме изложения. Ницше удалось счастливо избежать слишком резкой отчетливости и определенности в выражении своих мыслей. Он умел — и в этом его главная заслуга — не переступить ту тонкую чуть видную черту, которая отделяет действительные переживания человека от выдуманных им идей. Он — замечательный представитель той почти божественной беспочвенности, о которой мечтали древние греки: иногда ему удавалось ходить, не касаясь ногами земли. У него нигде нет той тяжеловесной принципиальности и того неповоротливого догматизма, которые г-н Мережковский, вслед за другими моралистами, хочет во чтобы то ни стало внести в свое мировоззрение. Исключением является только VIII том, написанный после того, как Брандес уже успел представить его европейской публике, и когда Ницше, увидев, что на него смотрит чуть ли не весь цивилизованный мир, перестал думать для себя и стал поучать людей. Вероятно, именно по этой причине г-н Мережковский, часто вспоминающий и цитирующий Ницше, всегда обращается к самым последним его сочинениям — к «Антихристу» и «Сумеркам идиолов». Раз нужны догматы, все остальное, написанное Ницше, представляет мало интереса. А г-ну Мережковскому на этот раз нужны догматы и только догматы. Он во что бы то ни стало хочет доказать, что моралисты правы, что могут быть у людей прочные убеждения, что земля на трех китах стоит, и что каждый

желающий может этих китов увидеть собственными глазами. Вот два новых образца рассуждений г-на Мережковского: «Раскольников нарушил заповедь Христову тем, что любил других меньше, чем себя; Соня — тем, что любила себя меньше, чем других; а ведь Христос заповедал *любить других не меньше и не больше, а как себя* (курсив разумеется, опять авторский, да и как не подчеркнуть так слова!). Оба они “вместе прокляты”, вместе погибнут, потому что не умели соединять любовь к себе с любовью к Богу». Оставляю на совести г-на Мережковского истолкование слов Христа — в уверенности, что он не долго будет на нем настаивать. Но каков принцип?! Нужно уметь соединять с любовью к другим любовь к себе! Сколько моралистов позавидуют твердости и определенности убеждений г-на Мережковского. Другой пример: — «О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой», — говорит Ставрогину Шатов. И это, — выясняет г-н Мережковский, — верно только отчасти. В своих бессознательных поисках последнего соединения Ставрогин иногда действительно “летит вниз головой”. Но в своем религиозном сознании он именно только бродит, блуждает, блудит “с краю”. *Если бы он бросился вниз головой, то спасся бы, почувствовал, что у него уже есть крылья — и перелетел бы через бездну*». (Курсива у г-на Мережковского нет, но, на мой взгляд, последняя фраза вполне его заслуживает). Опять вечный принцип: бросайся вниз головой, — вырастут крылья! Ницше говорит, что в тех случаях, когда при нем высказывают новую и смелую мысль, он никогда не обсуждает ее, а всегда предлагает ее автору попытаться осуществить ее. Подождем и мы: когда личный опыт г-на Мережковского подтвердит его идею, быть может, мы станем доверчивей относиться к морали.

Из всего этого, между прочим, следует, что г-н Мережковский, — хотя он и стоит далеко от русских литературных кругов и говорит за свой страх, — по-видимому, всецело разделяет давно укоренившееся у нас убеждение, что писатель должен говорить не то, что он думает, а то, что в данное время полезно и нужно публике. Не знаю, может быть, он и прав. Но, если это и так, если и в самом деле писатель должен всю свою жизнь обманывать читателя и подслащать литературной ложью (или идеалами) горестное существование интеллигентного человека, то ведь это следует делать с большой осторожностью — так, чтобы люди не заметили, что их обходят. И успеть в этом трудном деле можно только в том случае, если писатель, обманывая других, ни на минуту не забывает, что он говорит неправду и неправдой этой мучается. Таким образом, благодаря постоянно живущему в нем

тягостному и неестественному раздвоению, его речь приобретает тот особенный характер взволнованности и мятежной напряженности, который всегда свойствен проповедникам, и в котором неопытная, вечно наивная и вечно жаждущая сильных впечатлений толпа обыкновенно видит признак сошедшей на человека небесной благодати. «Как дрожит у него голос, как сверкает его взгляд, как бледнеет и меняется его лицо! Все существо его — один трепет! О, тут не может быть сомнения — его устами говорит божество» — непосвященные всегда так рассуждают... Но, если человек станет необыкновенные вещи говорить обыкновенным тоном, и если, чтоб не слишком тратиться, он, прежде чем выступать пред людьми, постарается сам убедиться в своих истинах, примириться с собой, устранить внутреннее раздвоение, то это кончится тем, что он будет единственным верующим последователем своих идей. Поэтому я опять высказываю сожаление, что г-н Мережковский хотя бы на минуту, на ту минуту, когда нужно написать о Наполеоне, Раскольникове или Ставрогине, верит в истинность того, что он говорит. Выходит уже слишком просто и обыкновенно. Чтоб убеждать человека в пригодности различных метафизических идей, нужно либо сразу оглушить его отчаянным криком, как это делал Достоевский, которого многие (даже Вл. Соловьев) серьезно принимали за настоящего пророка Божия, — либо, если голоса не хватает, говорить меньше, чем знаешь, но с таким видом, как будто бы мог сказать еще многое: так советовал опытный в этих делах старик Вольтер.

Разумеется, возможен и третий выход: нисколько не заботясь о читателях, прямо высказывать все, что ты думаешь. Но, в настоящее время, кроме А. Чехова, нет ни одного человека, который бы имел достаточно внутренней веры, религиозности, чтобы не побояться принять такое предложение. Все глубоко убеждены, что если открыть глаза на действительность, если захотеть говорить правду — то в результате получится одно отчаяние. А читатель требует во чтобы то ни стало от писателя «положительных» идеалов. Тут с одной правдой далеко не уйдешь:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

IV

В силу своего недоверия к действительности (к действительности в самом широком смысле этого слова: не надо забывать,

что Достоевский называл себя реалистом — и с полным правом) Мережковский перенес, как сказано, спор с религиозной на моралистическую почву и вместо Бога предлагает нам под именем «всемирного объединения» идеализм. Отсюда и его в своем роде беспримерная нетерпимость по отношению к гр. Толстому. Как известно, идеализм, добившийся «общеобязательных» суждений, был всегда деспотичнейшим учением — даже в устах тех лиц, которые в силу своего зависимого общественного положения, совершенно искренно мечтали о свободе мысли и слова. Если идеалисты и готовы уничтожить всякого рода внешние стеснения — они никогда не откажутся от права нравственного суда и осуждения. Г-н Мережковский являет тому превосходный пример. Вполне либеральный по натуре и своим симпатиям, он, соображая, что гр. Толстой не признает и никогда не признает высказываемые им суждения общеобязательными и единственно истинными, в буквальном смысле слова, иногда смешивает с грязью великого писателя земли русской. И притом — действует *bona fide**, т. е. решительно не испытывает ни малейших признаков угрызения совести или даже чего-нибудь похожего на угрызения совести. Наоборот, так как он убежден, что действует во имя великой идеи и, так как для идеи, вообще говоря, ничем не жаль пожертвовать, то он, по-видимому, даже чувствует известное нравственное удовлетворение: маленький Давид, сильный только правдой, побивает огромного Голиафа. История интересная: она лишний раз может выяснить нам, чего добивается мораль или идеализм, когда они начинают настаивать на общеобязательных суждениях.

Г-ну Мережковскому не нравится в гр. Толстом то, что он в нем называет рационализмом, поклонением здравому смыслу, ибо в рационализме он видит помеху свободному движению мистической мысли. Это, разумеется, вполне естественно. Читатели, которые следили в прошлом году за «Миром Искусства» или знают мою более раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» ни на минуту не заподозрят во мне сторонника толстовской морали и ее главной идеи — «добро — есть Бог». Но из этого только следует, что на людях, не желающих превращать Бога в отвлеченное понятие, лежит обязанность доказать свою правоту. И, разумеется, г-н Мережковский, как человек достаточно образованный, превосходно знает, что *onus probandi*** — лежит на нас, а не на сомневающихся скептиках. Но, вместе с

* чистосердечно, доверчиво (лат.).

** время доказательств (лат.).

тем, г-н Мережковский достаточно искушен в этих делах, чтобы брать на себя подобного рода *opus* и, так как при том он считает, что от читателей нужно всячески скрывать внутренние сомнения писателей и что суть не в том, насколько ему действительно удастся поразить Голиафа, а в том, насколько удастся убедить публику в одержанной победе, то он, не делая даже попытки вдуматься в смысл толстовского рационализма, поднимает вопрос о нравственных качествах своего противника. А в таких случаях, как известно, всегда оказывается правым тот, кто успеет первым рассердиться, раскричаться и даже, как мы сейчас увидим, ударить — не в переносном, а почти в буквальном смысле этого слова — ударить врага... Читатель, вероятно, помнит еще ту сцену в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, в которой изображается, как старый лакей Григорий побил молодого лакея Смердякова за то, что этот последний во время урока не побоялся указать на замеченные им в словах Св. Писания противоречия. На месте Григория другой учитель, более толковый и терпеливый, вероятно, умел бы ответить своему ученику и смирил бы строптивого спорщика. Но неуклюжая мысль бывшего дворового человека растерялась при первом возражении, и он наградил мальчика полновесной пощечиной. Тут есть много любопытного, но во всяком случае, мы несомненно находимся в области комического, и пример Григория нас менее всего может соблазнить к подражанию. Григорий первый раз в жизни услышал возражения от Смердякова: но для нас возражения ведь не новость. Г-н Мережковский, как это ни невероятно, соблазнился: ему во что бы то ни стало захотелось приобрести общеобязательные суждения — хотя бы по способу Григория. «Вот славная пощечина!» — восклицает он и считает, что «рационализм», а с ним и гр. Толстой окончательно раздавлены, и что яснополянские сомнения отныне не должны приниматься в соображение. Моралисты так всегда поступали. Как только они замечали свое бессилие, они тотчас же начинали возмущаться и негодовать, что осквернены их светлые идеалы, что погублены надежды и т. д. Если же негодования оказывалось недостаточно, они иной раз не брезгали обращаться и к «пощечине» — к поддержке организованной или неорганизованной внешней силы. И раз вступивши на этот путь, г-н Мережковский считает, что сделал все: ему остается только придумывать различные вариации на тему о смердяковской пощечине. Что бы ни сказал Толстой — г-н Мережковский вспомнит Смердякова. Под конец, так как и Ницше ему мешает, он начинает поносить и Ницше, забывая благодарность, которой мы обязаны учителям своим. Приведу один-другой пример вариаций г-на Мережков-

ского на тему о Смердякове, так как «своими словами» мне никогда не удастся должным образом объяснить, что, собственно, он предпринял. Выписав из «Бесов» фразу Ставрогина, оканчивающуюся словами «я точно заражен смехом», и желая доказать, что смех Ставрогина неуместен, г-н Мережковский пишет: «Это то и есть наш современный и будущий, западноевропейский и русский всемирный демон — отец нашей “лжи”, нашей середины, нашего мещанства, нашей позитивной, либерально-консервативной, смердяковской, толстовской и ницшеанской пошлости (курсив мой. — Л. Ш.) — самый “маленький и гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся”, и в то же время, самый великий, с каждым днем растущий, наполняющий собою мир, и, однако, еще никем не узанный (!), невидимый бес» *. Или еще по поводу идеала великого инквизитора: «“В идеале великого инквизитора”, в “тысячемиллионном стаде счастливых младенцев”, поросят эпикуровых, учеников Карла Маркса, у которых пар вместо души — бесчисленных маленьких, успокоенных под властью Зверя, Карамазовых и Смердяковых, даже не в зверином, а в скотском царстве, противопоставленном царству Божьему, в страшной социал-демократической Вавилонской башне, “хрустальном дворце” всемирной сытости — не называется ли эта именно, угаданная Смердяковым глубочайшая сущность Ивана — любовь к “спокойному довольству” во что бы то ни стало, любовь к беспочвенной середине? — Сущность всей нашей европейской и американской белолицей китайщины, грядущего “серединного царства” с его “бесчувственной космополитической мразью”, сущность нашего современного позитивного и буржуазного Черта, бессмертного Чичикова, купца “Мертвых душ” и купца Брехунова, душа барина помещика Нехлюдова, Ростова, да и самого Л. Н. Толстого (опять мой курсив. — Л. Ш.) и душа лакея Лаврушки, барина Карамазова и лакея Смердякова» **. Эх, угораздило написать человека! Положительно, по мне должно быть стыдно чувствовать себя таким благородным и возвышенным! И этот огромный период à la Ницше... А ведь я бы мог выписать десятки, чуть ли не сотни таких периодов, в которых Толстой, Ницше, а подчас и сам Достоевский оказываются пошляками, Смердяковыми, лакеями, Чичиковыми, «поросятами, у которых пар вместо души» и т. д. И этот тон настолько доминирует в книге, что остается впечатление, будто Мережковский ни о чем больше не говорил. В сущности,

* Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. 351.

** Там же. С. 391.

впечатление не совсем правильное. Г-н Мережковский не только разносит Толстого и Ницше: он не забывает и свой синтез. Толстого и «рационализм» ему нужно только устранить, чтобы, как указано выше, открыть путь своей мистической идее.

Кстати, о слове «мистический». Скажу откровенно: не люблю я этого слова и дивлюсь тому, что г-н Мережковский так часто пользуется им. Правда, когда-то, по всем видимостям, это было хорошее, живое, значительное слово. Но, походив долго по рукам, оно от частого употребления совершенно выветрилось и в нем, как в потертом золотом, давно уже нет драгоценного металла — остались только надпись, да лигатура, и в настоящее время ему та же цена, что и фальшивой монете.

V

Лучшие страницы второго тома — это те, которые посвящены Достоевскому. Достоевского г-н Мережковский слушает и внимательно слушает, редко стесняет его свободу и только иногда исправляет и дополняет. Без исправлений и дополнений моралисты, как известно, обойтись не могут: они стремятся к «совершенству» и знают — одни во всем мире — что такое истинное совершенство. Уже в первом томе, где г-н Мережковский, держась метода Ницше, умел счастливо избежать ницшеанских идей, он иногда, в интересах синтеза, то вытягивал, то укорачивал разбираемых им писателей. Тем более — во втором, где вся почти задача сводится к синтезу. Так, на с. 397 он пишет: «Понимает ли, по крайней мере, сам Достоевский, что другого черта вовсе нет, что это подлинный, единственный сатана, и что в нем постигнута последняя сущность нуменального “зла”, насколько видимо оно с нашей планеты категориям нашего разума и переживаемому нами историческому мгновению? Кажется, Достоевский это лишь пророчески смутно — сознавал, но не сознал до конца. Если бы он сознал, то был бы весь наш, *а таков, как теперь, он почти наш...*» (курсив мой. — Л. Ш.). И еще на с. 445: «Да и здесь, на этих высочайших крайних точках западноевропейской и русской культуры, в Кирилове и Ницше, так же, как, может быть, *отчасти и в самом Достоевском* и наверное во Льве Толстом, все еще господствует “дух времени”, страшный демон середины, непроницаемой, нейтрализующей среды между двумя полюсами (“две нити вместе свиты”), наш демон, наполнивший собою мир, самый великий и самый гаденький золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся, дух, смешивающий и смеющийся, дух рус-

ского лакея Лаврушки и всемирного лакея Смердякова». Не мог удержаться г-н Мережковский — даже Достоевского принялся стыдить! И как только не пришло ему в голову то простое соображение, что лучше «не понимать» и быть вместе с Достоевским, Толстым и Ницше, чем «понимать» и остаться в стороне от них. И что, с другой стороны, если Смердяков и Лаврушка попали в такую почетную компанию, как Толстой, Достоевский и Ницше, то тем самым они настолько возвысились, что, пожалуй, теперь и не стыдно быть на них похожими — в конце концов не только не стыдно, но даже лестно.

Жаль, страшно жаль, что г-н Мережковский уступил традициям и погнался за объединяющими идеями! Я не говорю уже о первом томе, но даже во втором встречаются превосходные страницы о Достоевском. Считаю своей приятной обязанностью сделать здесь из его книги большую выписку о Раскольникове, как потому, что мне хочется воздать должное г-ну Мережковскому, так и потому, что это даст возможность читателю оценить все преимущества ницшевского психологического описательного метода пред навязчивым и беспощадным общенемецким морализированием... «Раскольников испытал подобное тому, что должен был бы испытать человек, который вдруг потерял бы ощущение веса и плотности своего тела: никаких преград, никаких задержек; всюду пустота, воздушность, беспредельность; ни верху, ни низу; никакой точки опоры; оставаясь неподвижным, он как будто вечно скользит, вечно падает в бездну. После “преступления” Раскольников испытывает вовсе не тяжесть, а именно эту невероятную *легкость* в сердце своем — эту страшную пустоту, опустошенность, отрешенность от всего существующего — последнее одиночество: “точно из-за тысячи верст я смотрю на вас”, — говорит он своей сестре и матери. Он еще среди людей, но как будто уже не человек; еще в мире, но как будто уже вне мира. Ему легко и свободно. Ему слишком легко, слишком свободно. Страшная свобода. Создан ли человек для такой свободы? Может ли он ее вынести, без крыльев, без религии? Раскольников не вынес. И как могли, как могли подумать, как до сих пор еще думают все, что он оправдывает себя, потому что боится вины своей, боится “угрызений совести”. Да он их только и жаждет, только и ищет сознания вины своей, раскаяния, как своего единственного спасения» *. Вот как надо писать, вот как надо думать, искать, смотреть! Вот где виден истинный и достойный ученик Ницше! И ведь обошлось без синтеза. Разумеется, читатель, ко-

* Там же. С. 128.

торый ищет метафизических, нравственных и иных утешений, взвоят, может быть, даже взревет от негодования, прочитав эти строки — и отвернется от писателя, который столь бесстрашно говорит правду о жизни; но нужно уметь выдержать негодование и даже презрение толпы, нужно уметь, сохранив все возможное спокойствие, ответить воющим, ревушим и негодующим читателям: за метафизическими, нравственными и иными утешениями извольте обратиться к немцам, к толстым, многотомным немцам. У них этого добра — хоть отбавляй, особенно у Канта, специально занимавшегося изготовлением таких вещей, как «постулаты» свободы воли, бессмертия души — и даже Бога! К сожалению, г-н Мережковский, вместо того, чтобы отсылать к Канту ищущих идеалов читателей, сам идет к нему на поклонение. Я знаю, что г-н Мережковский никогда не уделял слишком много внимания вопросам теоретической философии, и я не стану, конечно, требовать от него обширной философской эрудиции и основательного знакомства с деталями Кантовской системы. Если бы даже он допустил какую-нибудь ошибку, я бы не поставил ему этого в упрек. Но он обергегся от ошибки — зато сделал худшее. Он повторил общее место о заслугах Канта и сознательно присоединил свой голос к огромному хору хвалителей и почитателей кенигсбергского философа.

Повторяю: он знал, что он делает; он не мог не знать, что, становясь на сторону Канта, он зажимает рот Раскольниковым, Карамазовым, Достоевским, Толстым, Ницше, и прерогативу свободного слова делает исключительным достоянием немецких идеалистов. Вот его подлинные слова, в значительной степени являющиеся итогом всей книги: «одно из двух: надо или опровергнуть Канта, или принять его и, в таком случае, согласиться с ним, что область, доступная исследованию нашего разума, есть только область явлений, область чувственного опыта, происходящего во времени и пространстве; Бог — вне явлений, вне пространства и времен; а следовательно и вопрос о бытии или небытии Божиим находится вне области, доступной исследованию разума. “Бог необходим” — это не разумная, не опытная, а мистическая посылка, не опровергаемая и не доказуемая разумом. Разум не утверждает и не отрицает, он только говорит: “я не знаю, есть ли Бог или нет его”» *. Г-н Мережковский так рассуждает не потому, что он лично проверил, насколько Кант и его критцизм действительно неопровержимы: ему, вероятно, некогда было заниматься этим. Вероятно, он никогда даже и не поинте-

* Там же. С. 440.

ресовался допросить, как следует, знаменитого философа, для какой собственно надобности потребовалось ему принизить права человеческого «разума». Г-ну Мережковскому в настоящую минуту нужно было лишить права голоса Ницше (см. 441 страницу), и он наскоро заключил союз с Кантом, позабывши, что Кант есть, был и будет основателем того идеализма, к которому обратились столь презираемые им бывшие марксисты. Кант не только не может поддержать человека, ищущего Бога, но своими «постулатами» он в зародыше убивает всякую надежду на возможность найти Бога. «Разум не утверждает и не отрицает бытия Божия» — это прежде и после всего значит, что *нам до Бога нет и не должно быть никакого дела*, — а раз так, то никакие мистические послышки уже не спасут ничего. Мы можем доказать незыблемость научных принципов, мы можем *обосновать* вечную мораль — ограничимся этим, а с Богом — как будет, так и будет; это дело чистого случая или, как говорит Кант, веры. Не нужно, однако, смешивать Кантовской веры с религией: *они ничего общего между собой не имеют*. Позитивизм ведь тоже не отрицает веры, даже веры в Бога! В конце одной из глав своей логики Милль, несомненный позитивист, поместил небольшое примечание, приблизительно строк в двадцать, в котором он со свойственной ему ясностью и убедительностью (*beleidigende Klarheit* * — говорит Ницше) высказывает ту мысль, что позитивизм не исключает веры в Бога. Мне жаль, что у меня нет под рукой его книги, и я не могу привести этого места, никогда, насколько мне известно, еще не оцененного по достоинству. Но за смысл я ручаюсь. Здесь, впрочем, форма дело второе: главное, что *Бог, о котором в тексте книги никогда не упоминается, попал в примечание*. Это характерно и многозначительно: г-н Мережковский наверное со мной согласится. Но еще интереснее, что ведь Кант сделал то же, что и Милль. Его постулат Бога — есть тоже Бог «в примечании». Все нужно доказывать (напр., закон причинности, нравственный закон), в Бога же можно верить, ибо в конце концов не так и важно — существует ли Он на самом деле или не существует: главное, чтоб Его не оспаривали. В *этом* смысле и значение критицизма, как и миллевского позитивизма. Нужно было сосредоточить все внимание и весь интерес на мире явлений (и не всех, а только некоторых явлений, не возмущающих душевного спокойствия человека), нужно было придать прочность научным положениям и моральным принципам, которым стал угрожать английский скептицизм — и Кант прибегнул к ге-

* оскорбительная ясность (нем.).

ниальнойшей из возможных уловок. Увидев, что борьба невозможна, что выдержать напор нового течения — безнадежная затея, Кант решил *пригнуться*, в расчете, что вихрь пронесется над ним, не задев его. И расчет его оказался математически верным.

Кант спасся от скептицизма! — Стоило на мгновение проснуться от «догматической дремоты», чтобы потом иметь право спокойно, в сознании полной безопасности, уснуть на всю жизнь! Наука и мораль обеспечены, в мире явлений, соприкасающихся с философами, беспорядка не будет — ну, а дальше? Дальше — кому охота заглядывать так далеко! И по настоящий день, как только Раскольниковы, Толстые, Достоевские и Ницше начинают бить тревогу — им в ответ тотчас раздается стройный хор вышколенных голосов: назад к Канту, Кант защитит, Кант уймет бунтовщиков! И если бы Кант прочел приведенные мною выше рассуждения г-на Мережковского о Раскольнике или иные места из первого тома «Толстого и Достоевского» он, разумеется, счел бы себя обязанным погрозить пальцем и напомнить о мире явлений, синтетических суждениях *a priori*, антиномиях, категорическом императиве, *Ding an Sich* * и т. д. Но г-н Мережковский и сам спохватился. Ему понадобились положительные выводы, идеалы, логика, мораль, мировоззрение — а в таких делах без гениального Канта, разумеется, обойтись нелегко.

VI

А теперь спросим, наконец, в чем же последний синтез г-на Мережковского? У него на этот вопрос есть очень определенный ответ: в чем другом, а в неясности его упрекнуть нельзя. Уже с начала 5-й главы он приводит стихотворение З. Н. Гиппиус — «Электричество», стихотворение, которое ему кажется до такой степени полно и удачно выражающим его основную мысль, что он заключительные его строки цитирует до десяти раз. Стихотворение небольшое, и я его приведу целиком, ввиду той значительной роли, которую оно играет в книге г-на Мережковского.

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» не слиты,
Не слиты — сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно и мертво;

* вещь в себе (*нем.*).

Но ждет их воскресенье,
И ждут они его:
Концы соприкоснутся,
Проснутся «да» и «нет»,
И «да», и «нет» сольются,
И смерть их будет свет.

Как видит читатель, стихотворение едва ли может быть названо удачным. Оно схематично отвлеченно — в сущности, рифмованное переложение параграфа из элементарной физики. В том же 5 номере «Мира Искусства», в котором появилось «Электричество», напечатана еще одна вещь З. Н. Гиппиус — «До дна». «До дна» — прелестное, истинно поэтическое и глубоко правдивое стихотворение. А г-ну Мережковскому оно не понадобилось: в нем нет принципов, общих выводов, синтеза. Там, непосредственно за такими, как будто бы подающими надежду стихами, как:

Люблю я отчаяние мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана

следуют два других, исполненных столь человеческой, презирающей синтез, горечи:

И только одно я здесь знаю верное:
Нужно всякую чашу пить до дна.

Это — очевидное противоречие, невыдержанность, — а с тех пор, как немцы установили, что противоречий быть не должно, г-н Мережковский теоретически не выносит непоследовательности, а потому не слушает и не слышит человека, так мало «знающего», как автор стихотворения «До дна». И заглушив в себе природную эстетическую чуткость, г-н Мережковский бесконечно повторяет «Электричество», не соображая, что при многократном чтении даже неопытный читатель может догадаться, что «электричество» — слабая вещь. По содержанию «Электричества» уже видно, каких «выводов» добивается г-н Мережковский. Подобно всем идеалистам, и он убежден, что звание писателя обязывает его сделать знаменитое *salto mortale* *, — перескочить через всю жизнь к светлой идее. Но *salto mortale* поражает только у акробатов. Здесь на самом деле отчаянный прыжок заставляет биться человеческие сердца. Мы боимся за смелого гимнаста и со стесненным дыханием следим за его дви-

* смертельный прыжок (*ит.*).

жениями. В области же мысли прыжки — самый безопасный, а потому мало на кого действующий прием. И даже обещание света, кажется, никого уже не прельщает. Боже, сколько раз нам уже говорили об этом свете, и как бы нам хотелось, чтоб хоть на время прекратились светлые разговоры!

И ведь чтоб добиться света, вовсе не нужны мистические «посылки». Как превосходно на эту тему говорят позитивисты — хотя бы тот же Тэн, на которого ссылается по поводу Наполеона г-н Мережковский. Посмотрите, какой пышной тирадой заканчивает он свою последнюю главу «истории английской литературы»... «Кто не чувствует восторженного удивления при виде колоссальных сил, находящихся в самом сердце всего существующего, которые беспрерывно гонят кровь по членам старого мира, распределяют массу соков по бесконечной сети артерий и раскидывают по поверхности вечный цвет юности и красоты? Наконец, кто не почувствует себя выше и чище при открытии, что этот ряд законов примыкает к ряду форм, что материя переходит постепенно в мысль, что природа заканчивается разумом и что идеал, около которого вращаются после стольких заблуждений все человеческие стремления, есть та же самая конечная цель, в виду которой работают, невзирая ни на какие препятствия, все силы вселенной?»... Чем это не «свет»? И какое блестящее, вдохновенное, великолепное красноречие!

Но, слушая его, хочется, вместе с Верленом, крикнуть вдогонку окончившему свое дело и удаляющемуся на покой Тэну: *Prends l'eloquence et tords lui son cou!* * Не нужно, не нужно нам всего этого...

Нельзя не упомянуть, хотя вскользь, о предисловии г-на Мережковского. Это не предисловие, а большая статья в 4 печатных листа. Странно оно начинается, странно и кончается. Автор, по-видимому, задался державинской задачей:

В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

«Довольно, — пишет г-н Мережковский, — мы говорили — надо делать: русская литература есть великое слово России, за словом — дело, и дело России должно быть достойно ее великого слова. Начнем же делать».

Что делать? К сожалению, прямого ответа на этот вопрос нет, и мне во второй раз приходится догадываться. По-видимому, г-н Мережковский приглашает нас, писателей, вмешаться в обще-

* риторике сломай ты шею! (*фр.*).

ственные дела России. Если моя догадка справедлива, — а ни в каком ином смысле я не могу понять его слова — то, собственно говоря, он запоздал, и сильно-таки запоздал со своим призывом.

Вот уже более полустолетия, как наша литература только и делает, что занимается общественными делами, и если ее можно в чем упрекнуть, то разве в том, что она чересчур усердствовала в этом направлении и вносила общественно-политическую точку зрения решительно повсюду, даже в те области, где она была совершенно неуместна.

Но это дело второе. Гораздо интереснее, что г-н Мережковский, по-видимому, уже в самом предисловии делает попытку вмешаться в общественные дела.

Обсуждая вопрос о так называемом «отлучении от церкви» гр. Толстого, г-н Мережковский начинает подавать советы св. Синоду. И к моему удовольствию (почему к удовольствию — об этом ниже), его первый опыт оказывается совершенно неудачным. Он, напр., предлагает такую меру: разрешить гр. Толстому печатать в России все свои «богословские» произведения.

Вот эта аргументация: «Свобода мысли и слова никому в России в настоящее время так не нужна, как именно русской церкви, между прочим, и для борьбы с Л. Толстым. Если даже безоружность его, вследствие цензурных запрещений, есть только предлог, то насколько все-таки выгоднее было бы для церкви, чтобы и этого предлога не существовало: ведь мнимая безоружность и есть главное оружие Л. Толстого, кажущаяся беззащитность — настоящая крепость, в которую этот Голиаф спасается от камня Давидова. Нужно отнять у него оружие, выманить его из этой крепости, ибо церкви нужна победа не лукавая, открытая, а, следовательно, и борьба открытая и т. д.». Увы! все эти соображения слишком элементарны и едва ли на кого подействуют. Любому священнику или начальствующему лицу они уже давно и очень хорошо известны, и если все-таки гр. Толстому не разрешают печатать его сочинения, то вероятно для этого имеются очень и очень серьезные основания, которых не знает и не умеет угадать г-н Мережковский. Правда, может быть, г-н Мережковский пустился на хитрость: он думает, что, если назвать Толстого безопасным, то удастся выманить у власти имеющих лишнюю прерогативу. Но это такой избитый способ, им так часто пользовались либералы в своей борьбе с консерваторами, что им уже никого не обманешь и ничего не выманишь. Г-н Мережковский в своем предисловии хлопочет не только о привилегиях для гр. Толстого, но еще о многих вещах. И приблизительно с таким же искусством. И я очень рад, что он оказался плохим по-

литиком. Это значит, что он скоро вернется обратно в свою родную стихию — литературу. А раз еще вернется — то наверное убедится, что здесь еще многое, многое осталось сделать, и что при всевозможных обстоятельствах всегда найдутся люди, которых, в силу их характера и дарования, дело и борьба мысли будет занимать больше, чем политика. Ибо и в литературе есть дело, есть страшная борьба, более опасная и кровавая, чем борьба политическая и общественная...

Подведу итог сказанному: идеи г-на Мережковского — хорошие, благородные, возвышенные идеи — не хуже, может быть, лучше других идей, обращающихся ныне в обществе. Беда в том, что идеи не нужны. *De la musique avant toute chose — et tout le reste est littérature.*

